

Захар Оскотский



ЗИМНИЙ СКОРЫЙ

Хроника советской эпохи

Захар Оскотский

ЗИМНИЙ
СКОРЫЙ

Хроника советской эпохи

Санкт-Петербург
«БХВ-Петербург»

2014

УДК 82-3
ББК 84
О-74

Оскотский З. Г.

О-74 Зимний скорый. Хроника советской эпохи. — СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 560 с.

ISBN 978-5-9775-3296-9

Эта книга — своего рода реквием поколению, родившемуся после войны, последнему многочисленному и самому образованному советскому поколению. Его талант и энергия могли преобразовать страну, обогатить ее, поднять на уровень самой передовой державы мира. Но бюрократическая система не позволила этому поколению реализовать свои возможности. В романе «Зимний скорый. Хроника советской эпохи» читатель найдет ту правду о недавнем времени, которая поможет лучше понять настоящее и осознанно действовать ради будущего.

Для широкого круга читателей

УДК 82-3
ББК 84

Группа подготовки издания:

Главный редактор	<i>Екатерина Кондукова</i>
Зав. редакцией	<i>Екатерина Капальгина</i>
Компьютерная верстка	<i>Людмила Чесноковой</i>
Корректор	<i>Зинаида Дмитриева</i>
Дизайн обложки	<i>Екатерины Каримовой</i>
Оформление обложки	<i>Марины Дамбиевой</i>

Подписано в печать 29.11.13.
Формат 60×90^{1/16}. Печать офсетная. Усл. печ. л. 35.
Тираж 1000 экз. Заказ №
«БХВ-Петербург», 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул., 20.

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12/28

ISBN 978-5-9775-3296-9

© Оскотский З. Г., 2014
© Оформление, издательство «БХВ-Петербург», 2014

К ЧИТАТЕЛЯМ

Захара Оскотского современные читатели знают главным образом как историка, публициста, футуролога и автора остро-сюжетных романов-антиутопий. Но ведь прежде всего он писатель-прозаик, реалист. В 1980-е — начале 1990-х его рассказы публиковались в сборниках ленинградских писателей и в одном из лучших литературных журналов того времени — «Неве» главного редактора Бориса Никольского.

Именно в 1980-х Захар Оскотский начал работу и над этой книгой — романом «Зимний скорый». Но писал он его более 20 лет. Так случилось потому, что безвременье, в которое ныне провалилась Россия, утрата нашим обществом перспективы не могли оставить писателя равнодушным. И он периодически откладывал, порой на годы, незаконченный роман, чтобы написать произведения, в которых откликался на текущие проблемы.

Так появилась его «Гуманная пуля» — книга о влиянии научно-технического прогресса на ход истории, о цели науки, о ее роли в главных событиях XX века и в грядущих событиях XXI века. Некоторые мысли, высказанные в «Гуманной пуле», — о демографическом переходе, как основной причине мировой нестабильности, о бессмертии, как цели научно-технического прогресса, и другие — лишь теперь начинают входить в общественное сознание.

Ближние прогнозы «Гуманной пули» о развитии мировых и российских событий стали сбываться вскоре после выхода в свет ее первого издания (оно появилось в начале 2001 года). А десятилетие спустя мы видим, как растет вероятность того, что сбудутся и ее дальние прогнозы: о путях разрешения конфликта между Западом и Югом; о том, что успехи науки по продлению человеческой жизни ведут к главному кризису цивилизации, угрожающему самому ее существованию.

Чтобы донести некоторые мысли из «Гуманной пули» до более широкого круга читателей, Захар Оскотский в 2000—2004 годах написал остросюжетную антиутопию — роман «Последняя башня Трои», действие которого происходит в конце XXI века. Критик Ольга Костюкова из журнала «Профиль» писала, что «Последняя башня Трои» может встать в один ряд с антиутопиями Оруэлла и Войновича, а критик Сергей Некрасов из журнала научной фантастики «Если» отвел этому роману место рядом с произведениями Уэллса, Лема и Стругацких.

Недавно вышел еще один роман-антиутопия Захара Оскотского «Утренний, розовый век. Россия-2024». В отличие от «Последней башни Трои», он написан с минимальным использованием элементов фантастики, тяготеет к психологическому реализму. Даже тогда, когда дело доходит до немислимой фантазмагии, в нее героя вместе со всей страной заносит потоком вполне возможных для нас событий. Роман убедительно показывает, какое будущее ждет Россию без интеллигенции, без собственной науки и промышленности.

В последние годы выходили также исторические очерки, эссе и публицистические статьи Захара Оскотского, которые предлагают нестандартный, идущий вразрез со многими традиционными мифами, взгляд на ключевые моменты истории и современной политики.

И вот сейчас выходит — сразу в двух вариантах, типографском и электронном, — роман «Зимний скорый. Хрони-

ка советской эпохи». Эта книга — своего рода реквием поколению, родившемуся после войны, последнему многочисленному и самому образованному советскому поколению. Его талант и энергия могли преобразовать страну, обогатить ее, поднять на уровень самой передовой державы мира. Но бюрократическая система не позволила этому поколению реализовать свои возможности, и следствием стало то, что случилось с нашей страной теперь.

Некоторым читателям, особенно молодым, которые привыкли не искать в жизни смысла иного, чем добывание материальных благ, характеры и поведение героев книги могут порой показаться наивными. Но ведь то была мудрая наивность! Если не бояться высоких слов, можно сказать, что так проявлялся инстинкт самосохранения нашего народа.

«Зимний скорый», казалось бы, можно отнести к историческому жанру, поскольку его персонажи действуют среди точно воспроизведенных реалий 1950-х — 1980-х, а главный герой еще и пишет новеллу о событиях XVII века, на примере которых пытается исследовать непреходящие проблемы человеческой жизни. Но в действительности этот роман обращен не столько в минувшее, сколько в современность и будущее.

Многие наши сегодняшние проблемы коренятся в недавнем прошлом, происходят от того, что мы не помним уроков недавних времен.

Интерес к советской жизни сейчас очень велик, появляется множество книг, претендующих на то, чтобы их считали историческими исследованиями, выходят романы, фильмы, телесериалы. К сожалению, многие, слишком многие из них относятся к жанру «развесистой клюквы», а зачастую — являются прямым искажением правды, которое, возможно, не случайно. Вспоминается Оруэлл: «Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. А кто управляет прошлым, управляет будущим».

В романе «Зимний скорый» читатель найдет ту правду о недавнем времени, которая поможет лучше понять на-

стоящее и осознанно действовать ради будущего. Как писал Леонид Андреев: «Чтобы идти вперед, чаще оглядывайтесь назад, ибо иначе вы забудете, откуда вы вышли и куда нужно вам идти».

Не стану здесь подробно обсуждать литературное мастерство Захара Оскотского. Скажу только, что «Зимний скорый», при всей легкости и увлекательности чтения, — это напряженная, глубокая психологическая проза, которая так редко сейчас появляется. И читатель, который любит настоящую литературу, сам убедится в этом.

Ирина Борисова, литератор

**ЗИМНИЙ СКОРЫЙ.
Хроника советской
ЭПОХИ**

РОМАН

— ...Я не разбираюсь в религиях и, может быть, ничего нового не придумал. Ты случайно не знаешь, существовала когда-нибудь вера в бога слабого, бога-неудачника?

— Подобной религии я не знаю. Такая никогда не была нужна. Если я правильно тебя понял, ты думаешь о каком-то эволюционирующем боге, который развивается во времени, возносясь на всё более высокий уровень могущества, дорастая до сознания собственного бессилия? Но ведь отчаявшийся бог — это же человек, дорогой мой! Ты имеешь в виду человека...

Станислав Лем

— 1 —

Аэропорт днем, Пулковский аэропорт, нарочито современный, тянущийся к небу прозрачными космическими башенками, сверкающий внутри мрамором, стеклом, никелем, заполненный шумной текучей толпой, вязнущей сгустками у касс и киосков, этот дневной аэропорт не нравился Григорьеву. Было в нем нечто от ресторана. Может быть, сходство усиливали ряды ящичков с цветочными горшками. Но к вечеру, к ночи, когда темнело за высокими стеклянными стенами, аэропорт становился другим. В искусственном белоголубом свете мраморные полы обретали блеск и глубину, словно отражали ночное небо. Ярче разгорались на табло красноватые огоньки надписей с номерами и названиями рейсов. Толпа становилась медлительней, тише, и как будто от этого слышней доносился гром двигателей — то недвижимый на летном поле, то накатывающийся с неба.

В командировках Григорьев избегал ездить, почти всегда летал. Приверженность его авиации доходила, быть может, до чудачеств: от областных центров, куда приносили его рейсовые «Ту», к цели своей, к маленьким городам с большими заводами, не желал он добираться как все люди — за три-четыре часа в мягком автобусе. А добирался тоже по воздуху — валким, грохочущим, продутым бензиновыми сквозняками, выматывающим за час полета душу и печенки бипланчиком «Ан-2». Когда же осенью и весной пассажирские аэродромы в маленьких городах — поля с подстриженной травкой — закрывались, размокшие от дождей, он томился с книгой, вдавленный в кресло «Икаруса-экспресса». И не времени было жаль ему, а иного, того, что мог дать только полет. Пусть даже «аннушкин», птичий, проваливающийся.

Он скрывал бы свою чудную страсть, но за командировки приходилось отчитываться в бухгалтерии, его выдавали билеты, над ним посмеивались. «Печоринство! — сказала однажды Аля со злости. — Ты просто подсознательно надеешься когда-нибудь разбиться!» Григорьев разбиваться не собирался, но фразу взял себе, да так и отвечал с тех пор на глупые вопросы и шуточки. От него отставали.

Вот и сегодня, снова, был Пулковский аэропорт вечером, сухим и теплым октябрьским вечером 1984 года. Григорьев уже прошел регистрацию, получил посадочный талон. И домой позвонил. Трубку отец взял сам. Сказал, что лежит, читает. Болей нет. Может быть, завтра выйдут с матерью на улицу. Значит, можно лететь...

До объявления посадки оставалось минут сорок. Григорьев прохаживался взад-вперед, пробегая взглядом по лицам: сейчас должна была появиться Аля. Каждый раз, улетая, просил ее, чтобы не провожала, но она появлялась всегда, даже тогда, когда обещала, что не появится.

Несколько шагов туда, вдоль стеклянной стены, потом — обратно. На улице уже стемнело. Разворачиваясь, увидел свое отражение в стекле. Вот он — Евгений Григорьев, собственной персоной. Выглядит, пожалуй, старше своих тридцати семи: не столько высок, сколько кажется высоким от

худощавости; большая, не по узким плечам голова; глаза — большие, но слишком широко расставлены, и вид от этого не то настороженный, не то удивленный. А волосы уже редуют, над выпуклым лбом — залысины буквой «М». Впрочем, он выглядел так уже давно, лет десять не менялся. Наступило «состояние стабильности», как он это называл. Аля была моложе его на тринадцать лет. Плохая, никудышная цифра... Состояние стабильности продлится, должно быть, еще лет пять-семь, возможно, десять, а потом он начнет стареть — сразу, быстро. Григорьев отвернулся от стекла. Думать о старости он избегал, а внешность его мало заботила.

В состоянии стабильности жизнь не приносит неожиданностей. Она делится на куски, блоки, и в начале каждого блока видишь его до конца, а там уже просвечивает следующий. Сейчас будет обычное перед расставаньем объяснение с Алей. (Плохо, что опять не выспался. Голова тяжелая, болят виски, не сумеет с нужной легкостью парировать ее уколы.) Потом будет ночной полет: голубоватый полусвет в салоне, сквозняки от вентиляции. Словно в затылке будут постанывать и клокотать хвостовые турбины, перемалывая разреженный воздух стратосферы. Будет казаться, что лайнер не летит, а медленно плывет по темному, вязкому морю, слегка содрогаясь от ударов брюхом о гребешки волн.

Он летел в свой привычный мир — маленьких городов и больших заводов. Через несколько часов лайнер начнет мягко проваливаться, отдавая высоту, и сойдет Григорьев с трапа уже далеко отсюда — в Сибири. Бетонные пластыри аэродромов сдавили землю, пространство стянулось, прошитое иглами самолетов. Словно из двери в дверь, переходил он через тысячи километров из одного цеха или кабинета в другой, как будто соседний цех или кабинет, и ничто не изменялось: те же стены в бледно-зеленой эмалевой окраске, тот же обнаженный, тусклый металл станков. Крыльчатки вентиляторов, беззвучные в цеховом гуле, так же перемалывали сладковатый запах машинной осалки с резью растворителей и свежим канифольным дымком пайки. Да и люди, населявшие мир дальних заводов, — мастера, технологи, он сам вместе с ними, — какими бы разными ни были, оказы-

вались схожими в одинаковых рабочих халатах, при свете цеховых ламп, который и в самой яркости кажется бледным, от которого лица видятся темными — не загорелыми, а словно накрытыми синеватой тенью.

Еще несколько шагов вдоль стеклянной стены: туда, затем — обратно. Хотелось курить, но для этого надо было выйти на внешнюю галерею, а он боялся пропустить Алю. Она бы такого не простила.

У окошечек регистрации скапливались двойные очереди — людей и вещей: чемоданы, узлы, рюкзаки, картонные коробки, перехваченные веревками и ремнями, окаймляли барьерами людские цепочки и в бело-голубом свете, в недалеких раскатах двигателей тоже казались живыми, нервно-напряженными в ожидании взлета.

Григорьев перебрал из руки в руку свой нетяжелый портфель. Слава богу, у него никогда не было забот с багажом: зубная щетка, бритва, смена белья, да в папке со служебными документами — несколько листов начатой рукописи. Когда теперь он ею займется? Блоки следующих дней просвечивают насквозь, до темной усталости в конце каждого. С утра — проталкивать по кабинетам заводоуправления бумаги на опытную партию приборов: решение, техпроцесс, программу испытаний. В вечерние смены, когда свободнее в цехах, — подбирать и налаживать оснастку. Это потом, если пойдет, раскрутится работа, сможет он вечерами разложить свои листы. Да если еще в заводской гостинице удачно поселят: в отдельный номер или хоть с хорошими соседями. Такими, что лишний раз не пристанут с разговорами и не будут, любопытствуя, заглядывать через плечо.

Туда и обратно вдоль стеклянной стены. Али — не было. Вспомнил, как позавчера вытащил из почтового ящика конверт со штампом редакции — вернули «Белёсый свет». Казалось, уж к чему, а к отказам он привык, ничем его не задеть, неуязвим. А тут вдруг ударило — больно и унижительно, словно изловчились его лягнуть ниже пояса.

Конечно, ни одно стихотворение, ни один рассказ не писал он так долго, как эту сотню нерифмованных строчек.

Лет десять, с семьдесят четвертого. А в сущности, все двадцать с лишним лет после дней «белёсого света». То откладывал на время, то вновь начинал шлифовать, подбирать строку к строке — где вспомнится вдруг и схватит дыхание: в гуле и болтанке самолетов, в ночных номерах гостиниц под храп соседей.

Двадцать с лишним лет... У него была хорошая память. Не бог весть, какой дар природы. Но есть иллюзия могущества над временем, когда прошлое видится, как в перевернутом бинокле, — отдаленно, но резко, в красках, обостренных оптикой завершенности.

Стоял октябрь, безветренный, сухой.
Угли опавших листьев, как огонь,
Сквозь землю проступавший, раскаляли
Газоны скверов, камни в переулках...

Так начинался «Белёсый свет». А стоял тогда октябрь 1962 года. Наполз, надвинулся и встал над миром. Конец октября. Карибский кризис. Радио задышалось. Морская блокада Кубы. В повышенную боеготовность приведены американские и советские стратегические силы. Прерывая передачи, дикторы незнакомыми голосами читали послания Хрущева к Кеннеди. Россия звала к примирению. Потом объявили о высшей боеготовности.

В школе всё было почти как всегда. Только лица учителей стали напряженнее и голоса тише. Только сами они, подростки с едва пробившимися усиками, успевшие чуть-чуть набрать старшекласной солидности и снисходительности ко всему, что моложе и старше их неполных шестнадцати лет, собираясь вместе, впадали в какое-то неестественное возбуждение. Они с трудом высиживали урок, а на переменах, говоря о войне, вышучивали над ней, смеялись, шумели и выкрикивались, точно второкласники, до изнеможения. И не останавливали их педагоги, лишь наблюдали издали...

А после занятий Григорьев выходил в странный город. Это был как будто его Ленинград в осеннюю пору красок, когда петербургские дома, налитые светло-серым и розова-

тым каменным теплом и подсвеченные красно-желтыми листьями, резче проступают сквозь черные деревья скверов. Буднично катились потоки машин. Гроыхали, покачиваясь, красно-белые угловатые старички-трамваи со сдвижными, вечно не закрывающимися деревянными дверями, пережившие войну и блокаду, родные для мальчишки-ленинградца. Но Григорьев ощущал движения и шум города странно замедленными, словно всё двигалось затрудненно в невидимом силовом поле напряжения и тревоги. Ветра не было. Разреженным казался воздух, неспособный стуснуться, защитить от атомных метеоритов, и в нем трудно было дышать.

Он почти не испытывал страха — в шестнадцать лет смерти не боялся. Мучило неясное, то, что он начал осознавать много спустя: если для ребенка мир всегда устроен разумно, а взросление — познание неразумности мира, то не было в его жизни других дней столь быстрого и болезненного взросления.

Дети первых послевоенных лет рождения, дети чудом уцелевших отцов и прошедших блокаду и эвакуацию матерей, они ощущали себя особенным поколением. Когда это впиталось в их души? Должно быть, с малолетства, из кухонного чада переполненных коммунальных квартир, где в каждой комнате улыбались с нерезко увеличенных фотографий молодые лица — убитых на фронте, умерших с голода в блокаду. Пяти-шестилетние, они уже чувствовали за собой черный провал времени и сознавали, что растут на краю обрыва первыми росточками.

Кинофильмы и песни, безногие инвалиды, яростно прокачивавшиеся по улицам на гремучих тележках с подшипниками-колесиками, фронтовые вещи отца (брзентовая плащ-палатка, солдатский ремень, сапоги), портреты усыпанных орденами маршалов в альманахах «Круглый год» — всё дышало медленно остывающим жаром войны. И они, малыши, торопливо переживали войну в своих играх. Накрытые толем поленницы в темноватых дворах-колодцах с неизбывным запахом помойки были их окопами и дотами. Ленинград жил еще на печном отоплении, поленниц хватало. Они обороняли

их и штурмовали, отчаянные бойцы — в синяках, занозах, древесной трухе. Война представлялась им такой, какую они видели в «Падении Берлина»: веселые солдаты бегут в атаку, выставив автоматы с круглыми дисками.

Тогда, в начале пятидесятых, в центре города стояло почему-то много войск, и мимо их домов — по проспекту Майорова, через Исаакиевскую площадь — часто проходили колонны солдат. Странно, должно быть, они выглядели — вооруженные, в защитных гимнастерках и пилотках, на выметенном дворниками асфальте среди витрин «Гастрономов» с пирамидами разноцветных консервных банок и витрин «Ленодежды», где, растопырив руки, стыли манекены в длиннопольных пиджаках и длинных платях. Но для детей всё было естественным. Они с тротуаров жадно разглядывали оружие. Автоматы с прикладами и дисками считались у них «нашими», а складные, с узкими рожками магазинов — «немецкими». Им казалось, что солдаты эти идут из войны, и на груди у них в самом деле захваченные у фашистов автоматы.

С утра до вечера в их комнатах говорило, играло, пело радио. Дикторы и артисты, сменяя друг друга, рассказывали о великих стройках коммунизма — Волго-Доне и Каракумском канале. Плескались волны в радиопостановках — волны вокруг нового мыса Тахиаташ в пустынных песках. Каждый день торжественно сообщали, как в разных странах множит ряды могучее Движение сторонников мира. Гремели хоры: «Мы сильны, берегись, поджигатель войны!» и «Песню дружбы запевают молодежь!» И были любимые, неделями ожидаемые передачи с позывными-песенками. Галочка, Дедушка и Боря пели: «Угадайка, Угадайка, интересная игра!.. Кто загадки любит, тот нас и услышит! Кто их отгадает, тот нам и напишет!» И герои «Клуба знаменитых капитанов» пели: «В шорохе мышинном, в скрипе половиц медленно и чинно сходим со страниц...»

В детском саду они учили стихи о «светлой сталинской эре» и стихи, проклинавшие Трумэна. С уличных плакатов скалил на них волчьи клыки звероподобный Дядя Сэм: с окровавленным кинжалом в одной руке и голубым флажком с надписью «ООН» в другой, он набрасывался на ма-

ленькую Корею. За поясом у него торчала черная бомба с белой буквой «А».

Впрочем, их еще не слишком задевали мировые тревоги. Они читали добрые книжки — «Лесную газету», «Что я видел». Их группы водили гулять в Александровский сад к Адмиралтейству. Летящий Медный всадник, Нева, поднебесная громада Исаакиевского собора с золотым куполом были для них домашними. Весь город тех лет — с малолюдством площадей, редким автомобильным движением, с вывесками магазинчиков и мастерских в первых этажах и над полуподвалами царственных зданий — «Овощи», «Хозтовары», «Фото», «Ремонт обуви» — был уютным, своим.

А каким счастьем были семейные праздники! Гости приносили свои пластинки к хозяйскому патефону. Из никелированной головки с толстой стальной иглой, покачивавшейся на черном диске, звучали то приторно-нежный голосок Бунчикова, то смешливый — Шульженко. На стол подавали в разномастных тарелках довоенных сервизов винегрет и картошку с селедкой. А главное, для них, для малышей, — ставили бутылки лимонада. Ах, этот лимонад, «Крем-сода» и «Лимонный», острошипучий, обжигающе-сладкий! До старости не забыть его вкус. Куда он исчез потом?..

В «Детском мире» на Садовой, где на лестничных площадках висели громадные фотографии Сталина и Горького в окружении детей, и в «Магазине новинок» на Невском выставляли удивительные игрушки: автомобильчики «ЗИМ», управляемые гибким тросиком, электрическую железную дорогу с бегущими вагончиками и горящими светофорами. Не продавали, — кто же их купит за двести, за триста рублей! — а именно выставляли, чтобы они могли посмотреть. И они — смотрели.

Потом в их детство вплыл трагический голос Левитана: «Великое горе для всего советского народа!..» Рев гудков над крышами колеблющихся зданий, смятенные лица, слезы. Казалось, время останавливается.

Но — не остановилось. Переплеснуло черные жирные рамки в газетах и пошло живым потоком дальше. Из репродукторов зазвенели новые песни: «Вьется дорога длин-

ная! Здравствуй, земля целинная!» Они пошли в первый класс в пятьдесят четвертом, когда мужские школы объединили с женскими. И с учебой началось главное:

Всё то, что мы впервые узнавали,
Впервые с нами вместе узнавая,
Страна переживала. Мы как будто
Взрослели вровень с ней...

А переживалось — необыкновенное! Первоклашками в чистенькой форме, постукивая вставочками в чернильницы, они переписали с доски в свою первую тетрадку главные слова: «Родина», «Владимир Ильич Ленин», «Иосиф Виссарионович Сталин». А второклассниками они видели, как школьный завхоз Иван Николаевич, хмурясь, подхватывая рамы искаленной рукой в черной перчатке, сносил из классов по лестнице портреты Сталина и составлял у подвальной кладовки лицом к стене. На изнанке одного портрета кто-то из них успел уже мелом написать «дурак». Иван Николаевич здоровой рукой яростно стер надпись, размазав по бурому холсту пятно меловой пыли, и побежал за следующим портретом.

Впрочем, они еще смутно понимали смысл событий. Их захватывало другое — технические чудеса. Первым знаком времени стали для них реактивные истребители. Когда на уроках рисования задавали изобразить самолет, они пытались вычертить волновавший их воображение контур: короткая, обрубленная спереди сигара фюзеляжа, колпак кабины, узкие, откиннутые назад крылья и высокий, скошенный хвост. В самих засекреченных названиях — «МИГ-15», «МИГ-17», — которые они, конечно, знали, им слышались отзвуки новых, необыкновенных скоростей и высот.

Реактивные «МИГи» были символом мощи страны на газетных фотографиях и плакатах. Они видели их в кино — раз за разом взлетающими с аэродрома в заставках киножурналов. Видели кувыркающимися в высшем пилотаже в фильме «Звезды на крыльях» с ослепительным молодым летчиком — артистом Тихоновым (сколько раз крутили тот

фильм в затемненных дощатых столовках пионерских лагерей!). Они видели их наяву над теми же лагерями. Много «МИГов» летало тогда вокруг Ленинграда — над Финским заливом, над рощами Карельского перешейка. В одиночку, парами и четверками, то высоко, то совсем низко над детскими головами, так что можно было разглядеть прозрачную капельку кабины впереди и перышки рулей на хвосте, неслись серебряные стрелы, выпущенные в облака. Небо дрожало, воздух за ними обрушивался пластами свистящего грохота, и земля уходила из-под ног.

В городе открылось метро. В первое же воскресенье чуть не все три миллиона ленинградцев и, конечно, они вместе с родителями — ринулись под землю. Вываливались из битком набитых вагонов на очередной станции, бродили по ней в толпе, жадно осматривали, восхищались и снова втискивались в поезд — доехать до следующей. Детей и взрослых объединило ощущение драгоценного подарка, чуда. Цепочка подземных дворцов казалась ожерельем из разноцветных сверкающих бусин, нанизанных на пульсирующую огнями жилку тоннеля. И всё теперь принадлежало им — полированный гранит, белый и голубоватый дымчатый мрамор, хрусталь и рубиновое стекло, бронза и зеркальный никель украшений. А ведь открылась только первая линия! Сколько же еще дворцов засияет под всем городом, пока они вырастут!

В их жизни стали появляться телевизоры: экранчики с открытку и перед ними — стеклянные подушки-линзы, налитые водой, а лучше, говорили, глицерином. Передачи шли с семи до десяти вечера, шесть раз в неделю. В комнату к соседу, первым купившему телевизор, собирались все, кто не был с ним в кухонной ссоре. Показывали кинохронику, научно-популярные передачи, кинофильмы. Художественных было немного, часто повторяли одни и те же. Почему-то особенно любили телевизионщики жуткую кинокартину «Серебристая пыль» о поджигателях бактериологической войны. Ее крутили чуть не каждый месяц.

Улыбались с экранчика два самых знаменитых в Ленинграде человека, ведущие телестудии: Николай Зименко, стройный, элегантный, с седыми висками, и полненькая, смешли-

вая Зинаида Зубова. Программу они объявляли, как конференсье, стоя на фоне нарисованного театрального занавеса. К ним относились, как к всеобщим приятелям. Однажды вечером Зименко объявил: «А сейчас вы увидите кинокартину "Золотистая пыль"!» Взрослые и дети перед телевизором хором завопили: «Серебристая, дядя Коля!» Зименко, точно услышав их на экранчике, поморщился, засмеялся, махнул рукой: «Серебристая... пыль!» И все добродушно, даже с благодарностью посмеивались над ошибкой своего любимца. А симпатичные ямочки на щеках Зубовой умиляли всех, особенно почему-то женщин.

Восьми-девятилетние мальчишки, они больше всего любили научно-популярные передачи и кинохронику. Зеленоватый экранчик, сам чудо, светился окошечком в ожидающий их мир. Они видели строительство гигантских электростанций в тайге, круглые палатки ученых на станции «Северный полюс», китобойные флотилии в штормовом океане, толпы пингвинов, расступавшихся перед тракторами антарктической экспедиции.

Время напоминало о себе: вдруг жутко взглядывало с экранчика дуло атомной пушки. Восьмимоторные бомбардировщики с белыми звездами плыли в разреженной высоте вдоль наших границ, их громадные крылья прогибались от тяжести фюзеляжей, нагруженных водородными бомбами. Над тихоокеанскими пальмами с громом поднимался в небо клубящийся огненный гриб. Пожилой человек в старомодном котелке смеялся, открывая большие зубы. Голос диктора сурово спрашивал: «Вы довольны, мистер Даллес?..» И вновь под спокойную музыку научно-популярного фильма бегали по рисунку мультипликационные стрелочки, объясняя устройство советской, мирной атомной электростанции.

Им попадались еще в библиотеках угрюмые книжки недавних лет с названиями вроде «Рассказы о русском первенстве», с паровозиком Черепановых, воздушным шаром Крякутного и самолетом Можайского на обложке. С непонятной им, детям, но даже для них ощутимой злобой, страницы твердили, что все, все, все великие изобретения сделаны в России, а если забыты, так потому, что тупое царское пра-

вительство не оценило, а коварные иностранцы выкрали и выдали за свое. Но вот на экранчике появлялся действительно первый в мире советский атомный ледокол «Ленин» на стапеле. Взлетал в небо действительно необыкновенный самолет — «Ту-104». И в живых голосах дикторов, рассказывавших, как мы обогнали всех капиталистов, звучала не злоба, а веселая уверенность.

Смеялись на экранчике обнявшиеся советские и иностранные спортсмены, победители олимпиад в Кортина д'Ампеццо и Мельбурне. Двигались поющие колонны Московского молодежного фестиваля. Стремительно расширился мир.

Часто показывали запуски ракет — маленьких настоящих и громадных в фантастических фильмах. Они впервые услышали о Циолковском и межпланетных полетах.

Они много читали (полны, богаты были библиотеки). Больше всего, с жадностью — фантастику. Жюль Верн, Беляев, Ефремов, Уэллс разжигали мальчишеское воображение. А были еще приключения — Майн Рид, Конан Дойль, Хаггард, Буссенар. Почти все книги, особенно иностранных писателей, изданы были только что: в пятьдесят шестом, пятьдесят седьмом. (Через много лет вспомнится и запоздало изумит: как их успевали печатать?)

Каждая новая фантастическая книжка протекала сквозь всю мальчишескую массу мгновенно, как вода сквозь песок. «Двести двадцать дней на звездолете» — там наши пилоты раньше американцев высаживались на Марсе. «Тайна астероида 117-03» — там советские ученые вступали в космосе в схватку с «луианами», пришельцами с другой звезды, во всем похожими на людей, но с руками без суставов, точно толстые гибкие щупальца.

А в киосках «Союзпечати» продавали восхитительные копеечные брошюрки, в ярких обложках, с понятными чертежами и рисунками: «Как устроен реактивный самолет», «Что такое Вселенная», «Энергия атома». Чуть не каждую неделю появлялись новые. Их раскупали мигом. Словно вся страна, жившая в тесноте и бедности, тяжело отработавшая шестидневные сорокавосемичасовые недели, тянулась к тем брошюркам-букварям — познакомиться с новым веком, что вот-вот наступит и, глядишь, принесет новую жизнь.

Они-то, мальчишки, не сознавали бедности и тесноты. Для них реальность еще смешивалась с цветной иллюзией любимых кинокомедий, вроде «Карнавальной ночи» или «Девушки без адреса». Хотя деньги на брошюрки он стеснялся просить у родителей, копил по гривеннику от школьных завтраков. Отец, узнавая, гремел: «Опять постился, дурень! Дам я тебе рубль на эту дребедень, только голодным не ходи! Как будто понимаешь в них что-то!» И пролистывал, хмурясь и усмехаясь, странички с чертежиками.

Отец казался ему пожилым. Теперь только видно сквозь время, как был молод, — еще сорока не стукнуло, ровесник ему нынешнему. С работы отец приходил до того усталый, что даже отвечал с трудом. Но, поужинав, отдышавшись, понемногу становился привычным — громкоголосым, иногда впоказную сердитым, веселым, любимым. Должность его — «старший мастер» — звучала почетным званием.

Запуска первых спутников они, десятилетние, ожидали, и тем сильнее был взрыв ликования. Перелившись из книг и фильмов в голос Левитана, в газетные фотографии, всё оказалось еще чудесней! Всё шло еще стремительней, чем они мечтали! Первый спутник весил восемьдесят килограммов, второй, через месяц, — уже пятьсот, третий, через полгода, — почти полторы тонны. Еще через год советская ракета облетела Луну, и они вырезали из газет — сохранить, навсегда! — карту впервые заснятой обратной стороны.

Первенство наше в космосе было для них естественным. Их смешили карикатуры, где тощий американец в мятой фуражке забрасывал вслед советским тяжеловесам свой жалкий спутник величиной с апельсин.

В тех же газетах печатали карикатуры и на своих стияг с начесанными громадными коками волос, в брюках-дудочках, узких словно макаронины. В жизни им такие не встречались, но всё равно было смешно. И от старшеклассников спускались к ним нелепые, дразнящие песенки:

Раз стиягу хоронили,
Семь чувих за гробом шли.
На могиле саксы были,
Рок ломали до зари...

Как раз в том возрасте, в двенадцать-тринадцать лет, они начали осознавать свой Ленинград. В каменной стройности города впервые уловили напряженное движение. Ощутили стремительность главных улиц, выносящих к Неве, туда, где, виденный много раз, их наконец поразила простор воды и неба в обрамлении набережных. Где с течением волн и полетом облаков стройно плыли по берегам дома и дворцы, колонны, шпили, купола, плыли острова и мосты. Столица России молодой, продвинутая на самый край державы, чтоб увлечь ее за собою, двигалась сквозь время, не старея.

Они полюбили бродить по городу, изучать, словно путешественники, его районы. А каждый район был страной, непохожей на соседние. Башенки и скверики Петроградской стороны теснились уютно и приветливо. В резковатых контурах василеостровских линий сквозило их родство с корабельными конструкциями. Московский проспект, удаляясь от центра, всё выше тянулся в небо угловатыми громадами «сталинских» домов-дворцов.

Для них настала пора музеев. Вначале, конечно, был Военно-морской. Сколько раз приезжали они на ветреную Стрелку Васильевского острова, форштевнем рассекающую течение Невы, проходили мимо Ростральных колонн, похожих на облепленные надстройками и мостиками мачты линкора, и, волнуясь, вступали в глубины дворца, странно называемого «Биржей»!

Им открывался громадный зал Русского флота с ботиком Петра и великанскими, с яхту величиной, моделями стопушечных линейных кораблей в многоярусных парусах из белого блестящего шелка. Черно-лаковые цусимские броненосцы и серо-голубые крейсера в стеклянных ящиках поражали точностью мелких деталей, золотым блеском латунных гребных винтов.

А потом они полюбили каменную прохладу длинных залов Артиллерийского музея: бесконечные ряды орудий, витрины с оружием вдоль стен, волнующая тусклая гладкость боевой стали.

В этих музеях история ощущалась нарастающей мелодией: вначале — славная, хоть и несколько неуклюжая, допет-

ровская старина, а дальше, от основания Петербурга, — через яркий восемнадцатый век, через паровой и железный девятнадцатый — к революционной буре. И тут время в залах начинало растягиваться: героическая эпоха Гражданской войны, радостное двадцатилетие мирного строительства с двадцать первого по сороковой, черная гроза войны, алая, в знаменах, Победа. И, наконец, светлые — буквально самые светлые, точно для них подобрали помещения с окнами побольше, — «послевоенные» залы. Модельки серебристых «МИГов» под потолком, таинственные, без поясняющих табличек, длинные тела ракет, фотографии обломков сбитого самолета-шпиона «У-2» и его летчика Пауэрса. И, конечно, большие фотографии спутников.

В дни майских и ноябрьских праздников в Неву входили боевые корабли. Вытянутый, легкий, с изящно скошенными трубами крейсер «Киров», легендарный защитник блокадного Ленинграда, словно явившийся из «военных» залов музея. И высокобортный, тяжелый, в какой-то особенно светлой голубой окраске, крейсер «Свердлов» — из «послевоенного» зала. И оттуда же — овальные рыбы тела новых подводных лодок. Они стояли вдоль невских набережных, украшенные гирляндами разноцветных флажков, торжественные, гордые, трогательно свои.

А эпоха, казалось, становится старше вместе с ними и мощно распаивает новое, как только они способны его воспринять. Им было по четырнадцать-пятнадцать в шестьдесят первом. Весь тот год ликующе звучал по радио Первый концерт Чайковского. Взлет человека в космос и Двадцать второй съезд слились с его аккордами.

Мальчишеские души были потрясены рассказом Хрущева о культуре личности. Они, подростки, кое-что знали о Двадцатом съезде, но он казался им далеким прошлым, а с тех пор имени Сталина они почти не слышали. И вдруг, с трибуны нового съезда, не в секретном докладе, а открыто, уже на весь мир — что-то непредставимое, прожигающее. Как убивали невиновных, слепо веривших. Как Якир на расстреле крикнул: «Да здравствует Сталин!..» На мосту времени точно

ветром сметало позади пестрые гирлянды бумажных цветов и флажков, балки и фермы обнажались — в бородавках заклепок, облупившейся краске, ржавчине, засохшей крови, — и, дотягиваясь до новых дней, железом крепили под ногами.

А за окнами — громадные полотнища плакатов и транспарантов, закрывшие фасады, чуть колыхались на туго натянутых тросах. На многих повторялась диаграмма: цифры вниз «1913 — 1940 — 1960 — 1980» и взбегающая всё выше яркая полоса — производство стали, нефти, электроэнергии. Над последней датой она взмывала ввысь, как ракета. Белыми и золотыми буквами на красной материи: «Первая программа партии — выполнена. Вторая — выполнена. Третья — будет выполнена!», «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

Должно быть, только теперь они по-настоящему осознали себя избранным поколением. Сама история сберегла их от войны, от неправды и первыми предназначила для будущего. Они жили в тех же коммунальных квартирах, а то и в полуподвалах, их школьная форма из дешевой фланельки, утвержденная в былые еще времена, походила на солдатские гимнастерки, и лишь немногим из них в девятом классе родители могли купить часы. Но им дышалось легко, время было их временем.

Возвращались прекрасные имена уничтоженных. Выходили непредставимые еще год назад стихи, повести, фильмы — и пронзительное «Чистое небо», и «Человек-амфибия» с голубыми красками подводных съемок и песенками про «морского дьявола». Гагарин и Титов улыбались с фотографий за ветровыми стеклами автомашин. Невероятное вливалось в жизнь, быстро становилось привычным. Всё это было для них, и торжеству, казалось, не будет конца.

На уроках им задавали сочинения: «Какой я представляю цель жизни после построения коммунизма». Они задумывались: в самом деле, когда наступит коммунизм, они будут еще молоды. За какие высокие цели бороться тогда, ведь успокоение невозможно? И они находили ответ: при коммунизме всеобщей целью и смыслом жизни станет наука, познание безграничной, бесконечной Вселенной.

В фантастических книгах, которые они теперь читали, путешествовали уже не к Марсу и астероидам, а к звездам на фотонных ракетах, проносились в считанные годы сквозь световые столетия. Они верили, что доживут до этих полетов. Еще не вступив в жизнь, они чувствовали себя всемогущими.

И вдруг — этот октябрь шестьдесят второго. Разреженный воздух. Бескровное чувство бессмысленности... Он выходил на Неву. Приваливался к шершавому, холодящему руки граниту набережной, — подросток в стареньком, длинном пальто и кепке, показавшийся бы пугалом девятиклассникам нынешних восьмидесятых с их джинсами, курточками, вязаными шапочками.

Что же теперь будет?.. Сколько раз потом, когда сдвигались глыбы обстоятельств, — изредка с грохотом обвала, чаще беззвучно и давяще, — наблюдал он у других (и у себя) этот мгновенный переход к придавленному ожиданию: ЧТО ЖЕ ТЕПЕРЬ БУДЕТ?! Много раз потом. В те дни — впервые...

Он думал о посланиях Хрущева, так не похожих на обычный хрущевский уверенный и насмешливый тон. В них чудилось что-то заискивающее, вызывавшее даже досаду (зачем же так перед врагом?), и была какая-то высшая мудрость: что угодно, только не война!

Хрущев был для Григорьева великим человеком. Всё обновление страны, казалось, движется энергией его одного — крутоголового, с ехидным мужицким лицом. Григорьеву нравилось читать в газетах его огромные речи, густо пересыпанные пометками «веселое оживление» и «смех в зале». И даже в том, что многие Хрущева не любили, рассказывали о нем ядовитые анекдоты, даже в этом был новый воздух — освобожденности, небоязни.

А беспрестанные полеты Хрущева по свету! В каких он только странах не бывал и не выступал, с кем не фотографировался! Всё — для взаимопонимания, для мира. Как же мог Хрущев, великий борец за мир, допустить то, что случилось? Откуда у него, грозившего на любой удар ответить уничтожающим ударом, эта растерянность?

Всего две недели назад утверждали, что на Кубе нет наших ракет. В «Правде» напечатали фотографию: музыканты, прилетевшие из Москвы в Гавану, с контрабасами в руках хохочут над американской газетой. Та объявила их оркестр военным соединением. Теперь оказывается, ракеты были привезены... Зачем же это скрывали? От кого? Выходит, только от своих? Почему Хрущев, такой откровенный с народом, не сказал прямо: «Нас окружили базами, и мы в ответ поставили ракеты у их берегов. Так нужно!»?

(Имени Хрущева, конечно, не было в стихотворных строчках, не собирался он сейчас, в восемьдесят четвертом, дразнить редакторов. Но была в них невероятность того далекого дня — будничного осеннего дня и «высшей боеготовности», точно рубильником включенной в нервы.)

Осматриваясь, он шел вдоль Невы. Дома и дворцы по берегам словно уменьшились в размерах. Тысячетонные арки мостов с ползущими муравьишками-автомобилями стали невесомы. Шпили, блеклые без солнца, были легки и непрочны, свернутые из позолоченной бумаги. Его родной город казался игрушечным, выстроенным на наковальне.

...И над утратившим реальность миром
Повисло небо нереальное — накидкой
Полупрозрачной тонкой пелены.
Свет, словно бы искусственный, белёсый,
Рассеянно и ровно сквозь нее
На город лился, не давая тени...

Не было сил уйти домой. Душа мальчишки жаждала толчка, опровержения. Ноги сами тащили его по центральным улицам, он вглядывался в лица прохожих. Замедлившееся время растягивалось.

И вдруг — на набережной Фонтанки — мимо него промчался открытый военный грузовик с пушкой на прицепе. Пушка была темно-зеленого защитного цвета, приземистая, длинноствольная. Затвор и дульный тормоз на конце ствола — в брезентовых чехлах. Солдаты в кузове прятали головы в поднятые воротники шинелек. Это была обычная полевая пушка образца еще военных лет, и, глядя на нее,

Григорьев подумал нелепо, что до Америки ей своим снаряжением не достать. На сколько, в самом деле, могла она выстрелить? Ну, пусть на пятнадцать, на двадцать километров. Вряд ли везли ее в какой-то связи с мировым конфликтом. Но эта пушка мчалась сквозь притихший, замедленный город под белёсым небом, — через Невский, мимо Аничкова моста, к Летнему саду, — мчалась по-военному стремительно, слегка подпрыгивая на совершенно гладком асфальте, поводя стволом, отражаясь ломкой зеленой молнией в темных стеклах двухсотлетних дворцов. Редкие в рабочий час прохожие на набережной Фонтанки провожали ее взглядами.

И вместе с ними глядя ей вслед, задетый расходящимся вихрем ее движения, под прокашливанье уличных репродукторов, которые готовили к воздушной тревоге, почувствовал он горячими толчками сердца: всё может обойтись... может обойтись... обойдется...

И ощутил другое, смятенно-неуловимое для мальчишеского разума: его спасшийся мир уже не будет прежним! На горизонте жизни, там, где высились межзвездные корабли — серебряные башни остриями под облака на опрокинутых чашах фотонных отражателей, рапиры человеческой мысли, нацеленные в бесконечность, — изламывались сверкающие очертания, размывались, затягивались ватной дымкой.

Нева, октябрь шестьдесят второго,
И этот призрачный белёсый свет...

Але не понравилось. «Зачем ты написал это? Хочешь показать, что твое поколение тоже что-то пережило?»

Литконсультант из отдела поэзии разъяснял ему, что белый стих его лишен внутренней динамики, что произведение губит неопределенность авторской концепции, и что для публицистической поэзии лучше выбирать факты сегодняшнего дня.

Может, не слишком задело бы это Григорьева, но отчего-то ему вдруг показалось, что литконсультант, поучавший его, — молод. Так же молод, как Аля. И это внезапно привело его в ярость.

— 2 —

Туда и обратно вдоль стеклянной стены. Аля всё не появлялась... Значит, в этом году не получилось у него ни одной публикации. В следующем, 1985-м, тоже, наверное, не будет. Новый повод любопытствующим для расспросов.

После нескольких рассказов, напечатанных в неприметных сборничках «молодых авторов», слушок о них, к досаде Григорьева, просочился среди знакомых. Особенно донимали на работе. Выискивали его героям прототипов среди своих сотрудников. Допытывались: с чего это вообще, нормальный с виду человек потянулся в сочинительство?

Григорьев, как с полетами, не нашел сразу нужной защиты. Ворчал, отмахивался, пока так же, как с полетами, не выручила Аля. Она сказала: «Отвечай им просто, что это — твоё хобби». Стали отставать, удовлетворенные. А если кто бросал пренебрежительно, что — мало ли теперь жизнью недовольных инженеров царапают прозу да стихи и бегают по редакциям, — Григорьев соглашался: конечно, немало. Вот и он тоже.

По редакциям он, правда, не ходил. Рукописи посылал почтой. Тщательно отпечатанные, каждая — в прозрачной полиэтиленовой папке, и все вместе — в плотном конверте для служебных бумаг. (Аля смеялась над ним. Он покорно вздыхал: да, бюрократ, воспитали.) Возвращались рукописи через разное время — через несколько месяцев, через полгода, иные и через год. Возвращались помятые, разлохмаченные, сохранившие прикосновения чужих рук. Прозрачные голубые папочки исчезали всегда — в редакциях, видно, был на них голод. Григорьев как-то подумывал закупить сразу на трешку десятка два копеечных этих папок и послать в очередном конверте. Но когда Аля сказала: «Всё равно не делаешь!», — подумал еще и, действительно, не сделал.

Рукописи возвращались не просто так, а с рецензиями. Когда-то первые рецензии Григорьев читал с трудом: фальшиво-благожелательные строчки били по глазам, холод стыда

и беспомощности останавливал сердце. Но достаточно быстро пришло к нему удушливое спокойствие привычки, и, пробегая глазами объяснение очередного отказа, он просто отмечал для себя, что вот эту рукопись не читали совсем, потому и отделались общими фразами, эту — хоть просмотрели. А если приходила рецензия подробная, в которой рассказ его хвалили за новизну темы, но ругали за бедность языка, он доставал из разбухшей «отказной» папки рецензию прежней редакции, где тот же рассказ хвалили за язык и стиль, но отвергали за избитость темы, скалывал оба листка одной скрепкой и в ту же папку убирал.

Поначалу казалось унижительным и то, что новые рукописи приходится отправлять всё в те же журналы. Но тут уж выбора не было, — журналов издавалось немного. Да и отвечали из одной редакции всякий раз иные люди. А рукописи — надо же было куда-то посылать.

Просто удивительно, что несколько раз его всё же напечатали — в тех самых малотиражных сборничках «начинающих». Но странное он всякий раз испытывал чувство, глядя на свое оттиснутое типографским шрифтом детище, словно отчужденное теперь от него и даже просто — чужое, до того трудно узнавался текст, искореженный редакторской правкой. Строчки и периоды прозы, такие ломкие, которые он бережно подгонял друг к другу, пытаясь добиться мелодии, кривлялись хаосом раздробленных осколков. Он заставлял себя прочитывать всё до конца, точно выполнял неприятную, но обязательную работу. Потом убирал в тот же ящик письменного стола, где лежала папка с отказами...

Он повернулся, зашагал назад вдоль стеклянной стены и неожиданно, — как всегда при встречах с ней, неожиданно, — увидел Алю. Она пробиралась сквозь толпу, тоненькая, похожая на мальчика в джинсах и курточке, с коротко стриженной темноволосой головкой. Оглядывалась, отыскивая его, и когда нашла, в темных блестящих ее глазах, на всем детском личике мгновенно отразилась не радость, а почти враждебность.

Так было всегда перед расставанием. Так иногда бывало и в самые нежные минуты их любви, когда Аля, запрокинутая, стонущая, задыхающаяся от его ласк, вдруг открывала глаза, всматривалась ему в зрачки и с неожиданной ненавистью начинала отталкивать его, бить, бить — по лицу, по плечам: «Будь ты проклят!» Он сжимал ее плечи, ловил губами рот, чтобы заставить замолчать, а она металась на подушке с полными слез глазами и кричала: «Будь проклят! Не можешь забыться, так хоть притворись, притворись!..»

Аля остановилась перед ним. Смотрела молча, не здороваясь.

— Здравствуй... — виновато сказал Григорьев.

Каждый раз в первые минуты встречи она казалась ему неправдоподобно юной.

— Пойдем отсюда! — приказала она.

Григорьев покорно вышел за ней к внешней балюстраде. Внизу подкатывали ярко освещенные автобусы, всасывая вытекавшую из залов прибытия толпу. Вспышками разноцветных огоньков в темном небе, точно гроздь, сорвавшаяся с елочной гирлянды, медленно падал лайнер, давя гулом турбин.

Закурили. Григорьев не любил, когда она курила, — повзрослому, затягиваясь и выпуская струйки дыма. Здесь, в полутемноте, да еще в профиль, она была не так красива: вздернутый носик и срезанный подбородочек делали ее лицо похожим на лисью мордочку. Всегда, когда Григорьев хотел вызвать в себе раздражение против нее, он заставлял себя видеть в ее чертах это недоброе, лисье.

— Надолго летишь?

— Дней на десять.

— Отдохнешь от меня...

Сквозь бензиновый перегар и табачный дым он уловил аромат ее духов — сладковатый, чистый. Рука сама потянулась к ее коротко остриженной головке, пальцы скользнули по мягким, теплым завиткам волос, легли на тонкую горячую шейку. Аля притихла. Когда поднимался в его душе этот прилив нежности и горечи, он становился беззащитен перед ней...

Они познакомились почти два года назад, на встрече нового 1983-го, в незнакомой Григорьеву компании, куда его случайно затащил приятель. Было много молодежи, шума. Танцевали под стереозаписи каких-то знаменитых ансамблей, — Григорьев скучал, пил. В полутемной боковой комнате, где было хоть немного тише, под распахнутой морозной форточкой дымили сигаретами несколько девушек. Его занесло туда, он тоже сидел и курил. Потом наткнулся на какую-то гитару, от нечего делать стал проверять настрой, и кто-то уже просил его сыграть. Он почти не умел играть, но был пьян — полусонным, добродушным опьянением от вина, насыщения, усталости, и согласился, и начал, осторожно трогая струны, выговаривать давнее, саяновское:

Новый год я встречал
В небольшом городке за Окою.
Там по снегу пройдешь
И покажется ночью такой:
Чуть на цыпочки встанешь
И звезды заденешь рукою.
Только встретиться здесь
Не придется сегодня с тобой.
Говорят, что Ока
Это чье-то старинное имя,
Что кочевники дали
Ей имя седого вождя...

Сбивая его с мелодии, мягко и мощно толкались в стены аккорды стереофонических колонок из соседней комнаты. И вдруг — от ночного морозного окна в полутьме, сквозь слой табачного дыма — будто поплыло к нему бледное детское лицо с устремленными на него блестящими темными глазами, с темными пятнышками ноздрей вздернутого носика, темным пятном губ. Прохладная, очищающая волна нежности поднялась в нем, вымывая опьянение. Твердеющие пальцы уже без ошибок находили лады. Устремленный навстречу ей, он выговаривал — без жалобы, просто, открываясь:

Ну, а как же мне быть
В эту ночь с городами твоими?
Как назвать их теперь,
Сквозь ночную метель проходя?..

Начало их любви тоже походило на опьянение. Аля точно открыла в нем необыкновенный мир, изучала его и восхищалась своими открытиями. В чем-то сам был виноват — распустил павлиний хвост. И работа у него суровая, и командировки по всей стране с самолета на самолет. Ничего, вроде, не преувеличивал, а всё равно... Давал ей свои стихи. Она читала вслух. Медленно, изумленно.

Почти каждый вечер ждала его возле дома, даже тогда, когда не договаривались встретиться. Приезжала и выстаивала на улице часами. По выходным не давала ему выспаться: ни свет ни заря будила звонком в дверь его однокомнатной квартирki. Врывалась к полуодетому, сонному — сияющая, с обещанием накормить каким-то необыкновенным кушаньем, для которого всё привезла. И вдруг, забыв о сумке, пакетах, стихала, горячо задышав, тянулась к его губам, — и неприготовленным оставалось чудесное блюдо, нетронутой — ожидавшаяся выходных рукопись.

Да, это было именно опьянение, и потому он очень скоро почувствовал тревогу. Пытался даже осторожно внушать ей: «Не обманывайся, я обыкновеннее, чем ты думаешь». Куда там!.. Она его скованность объясняла по-своему: «Это оттого, что я не сберегла себя для тебя? Ну, скажи — да?» И плакала, просила ее простить.

В те первые месяцы они ни разу не заговорили о женитьбе. Он-то, хоть и с опаской, раздумывал над этим, но Аля не опускалась до земных мыслей. Алю волновало лишь одно: любит он ее или нет. Он много раз повторял слово «люблю», а она всё не верила, мучалась и мучала его. Казалось, чтобы ее успокоить, надо только произнести это слово как-то по-особенному, с силой заклинания, и сразу — весь мир утвердится. Но у него заклинания что-то не получалось...

Он первым заметил, как понемногу им становится трудно быть вместе. Особенно в будние вечера, когда они соединя-

лись, вынырнув каждый из своего мира. Он — тяжело обмякший и уже сонливый после рабочего дня. Она — легкая, танцующая. Ей не терпелось поделиться возбуждавшими ее новостями о каких-то своих знакомых. Нежные звуки ее голоса, мимика, смех точно осыпали его звенящим дождем. Он любовался ей, с усилием улавливая нить. Она вдруг пугалась: «Тебе неинтересно? Или ты плохо себя чувствуешь?» — «Да просто устал. Устал же, Алечка». — «Что такое, что?!»

Он пытался рассказывать о своих делах — шуточно, посмеиваясь над собой. Опытная партия приборов, — полгода выбивал для нее детали, — взяла и поплыла по сопротивлению на вибростенде. Ведь над душой стоял у паяльниц, чтоб не схалтурили, да за всем не уследишь, он не Змей Горыныч, у него одна голова. И черт знает, что теперь делать: дважды уже переносил срок по договору, второй раз еле умолил, больше не дадут... И со старыми, серийными приборами — заморочки. Поставщики сняли с производства герметик на импортном сырье, выпускают заменитель, дрянь. Свои заводы брать его отказываются. С поставщиков что возьмешь — чужое министерство. А он «ведет» приборы, в которых проклятый герметик используется, его и долбят снизу заводы, да сверху главк. И еще третье, пятое, одиннадцатое, — всё разом и непрерывно, как молотящие острозубые шестерни, только успевай метаться среди них.

Не надо было рассказывать ей об этом. Не сочувствия же у нее искал. Пусть бы его работа осталась для нее таинственно-возвышенной. Ведущий инженер в научно-производственном объединении с красивым названием — звучит, и ладно!.. Хотя, она бы, наверное, сочувствовала. Она бы, наверное, и на помощь кинулась, если бы с ним ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ. Но ведь ничего не случилось. Это для него вращение и удары шестерён — поток событий. А ей было непонятно, отчего он так озабочен этими неинтересными и, главное, нескончаемыми делами, как можно так уставать от них.

Ей уже становилось обидно, что он часто улетает в командировки. «А ты не можешь не лететь?» — «Ну, что ты! Межведомственная комиссия!» — «Мне скучно будет без

тебя». Она еще не понимала, что начинает скучать с ним. А он уже понимал. И каплями желчи копилась в груди досада: не мальчишка же он, в самом деле, — тянуться выше головы, что-то из себя изображать, чтоб только удержать ее. В его возрасте и ценишь-то женщину за то, что можешь с нею быть самим собой.

Значит, оставалась единственная самозащита — сдавливать себя, не размякнуть, душой к этой девочке не прирасти, чтобы потом, когда всё разрушится и она вернется в свой мир, не было слишком больно.

Она стала звать его в компанию своих ровесников. Он напрягся: вот и всё, лучше порвать сейчас! А она удивлялась, отчего он хмурится. Настаивала, капризничала. И ему не хватило решимости. Убедил сам себя: она уже не может без них, но еще не может без него. Пусть пока будет так, пусть продлится...

Как видно, из-за него Аля на время от компании отбилась и теперь вернулась. Но встретили ее, а с ней вместе Григорьева, радушно и со светским нелюбопытством. Ни шуточек, ни насмешливых взглядов, — он следил. Вежливые юноши с аккуратными стрижками. Миленькие, почти без косметики, девушки. Все одеты скромно, чтоб не сказать бедновато, для нынешней молодежи восьмидесятых: в выцветших и латаных джинсах, дешевеньких рубашечках и свитерках. В основном, студенты-филологи, как сама Аля. С дневного факультета, а еще больше — с вечернего, приезжие, сумевшие кой-как зацепиться в Ленинграде охранниками, сторожами, кочегарами.

Собирались почти всегда не в отдельных квартирах, а в комнатах коммуналок в домах-крепостях старого Петербурга, с полутемными коридорами и громадными кухнями, с застойным запахом холодной сырости, пыли, пригорелых сковородок и луковых очисток, с бесконечным шумом воды в уборной и ванной, с неясными фигурами соседей, бесшумно и раздраженно проскальзывающими из двери в дверь, чтобы не сталкиваться ни с кем из пришедших.

Комнатки были служебным жильем вечерников, предоставленным от службы охраны, от жилконторы. В какой-ни-

будь из этих нищенских комнаток, почти без мебели, но с завалами книг на подоконниках и прямо на полу, разместившись на продавленном диване и табуретках вокруг накрытого клеенкой стола, они подолгу сидели вечерами. Неимоверно курили, прихлебывая крепкий чай, а иногда — черный кофе. Ели мало и спиртное пили с похвальной умеренностью. Как подозревал Григорьев, то и другое — от безденежья. Когда однажды, чтоб не явиться с пустыми руками, он принес бутылку коньяка, ее рюмками, честно поровну, разлили в тот же кофе.

Григорьев с любопытством приглядывался к компании. Симпатичные лица, правда, немного бледные, как у нездоровых детей, редко бывающих на свежем воздухе. Удивляло то, что они с Алей были здесь единственной парой. Все остальные юноши и девушки вели себя друг с другом только по-приятельски. Сексуальных тем, конечно, касались, — отвлеченно, когда говорили о сюжете книги или фильма. В самой же компании царил абсолютная пристойность. Ни малейших следов флирта, никаких рискованных шуточек. Были они беспольными или собирались сюда, как в клуб со своими правилами, только для духовного общения? Во всяком случае, настороженность Григорьева — с кем тут Аля была до него? — ослабла понемногу.

А следить за «общением» поначалу оказалось интересно. Он знал, что многие в компании пишут — прозу, стихи, переводят. Но никто своего не читал, и говорить об этом избегали. Беседа кружилась какой-то стремительной игрой в знание мировой литературы, мирового кино, мировой живописи и музыки. Сыпались имена великих европейских, латиноамериканских, африканских писателей, о которых Григорьев часто и не слышал. Прочитанное перелетало над столом пригоршнями хрустальных осколков: колючее сверканье мыслей, переливы парадоксов.

В других литературных компаниях, где бывал Григорьев, собирались, чтобы спорить. Седовласые дяди выкрикивались там, как юнцы. Эти же аины юнцы не спорили никогда. Один рассказывал, остальные внимательно слушали. Потом вступал другой. Искрящиеся осколки, раз промелькнув, ис-

чезали навсегда, мгновенно оцененные и спрятанные. К ним не возвращались. За стол нужно было нести новое, только новое.

Григорьев вначале удивлялся: неужели у нас теперь издаются столько переводной литературы? А почему ребята рассуждают о фильмах, которых не могли видеть, откуда попадают к ним подробности из жизни западных писателей и режиссеров?.. Впрочем, эти ребята знали языки и кое-что, наверное, читали в подлинниках, как-то доставая зарубежные книги. Он видел у них и западные журналы в ярких глянцевых обложках. Не какой-нибудь «Плэйбой», а вполне серьезные издания по искусству.

Из рук в руки переходили машинописные листки со стихами эмигрировавших поэтов. Их прочитывали молча, о них не говорили. Эмиграция была связана с политикой, а политика ребят не интересовала. Больше того, считалась, похоже, запретной темой. Когда кто-то из компании стал высказываться о смене властей, — Черненко в те дни пришел после Андропова, — Григорьев впервые за этим столом услышал, как говорившего с насмешкой оборвали: нашел о чем!

Григорьев замечал, что в пестрой нахватанности ребят много наивного. Они плохо знали русскую классику и ко всему неинностранному, несамодетельному, что профессионально издавалось и исполнялось в родном отечестве, относились без разбора пренебрежительно, как к серой казенной штамповке. Возможно, оцетинивал их защитный рефлекс: ведь знали они, знали прекрасно, как для них недоступны хоть те же редакции. Молоденькие, напыжившиеся от гордости лисенята у бетонной стены винограда.

Сквозь их безукоризненную приветливость Григорьев чувствовал все-таки, что вызывает у них недоумение — своим возрастом, своей работой, постоянным молчанием в тени Али. Однажды раззадорился их поддеть. Вдруг влез в разговор и бухнул, что литературу русскую и даже советскую, не всю, конечно, а ту ее толику, что достойна этого имени, считает выше нынешней иностранной! Там, на Западе сейчас, конечно, играют формой, сыплют из сюжетов и слов узоры — куда нашим. Да только сплошь и рядом для

того, чтоб очевидную мысль хитрее завинтить. Боли, боли такой глубокой, человеческой, как у нас, у них нету!

За столом вежливо молчали. Он быстро спохватился, что говорит в пустоту. Имена Трифонова, Шукшина, Воробьева, Меттера звучали здесь экзотичней, чем Кортасар или Дрис Шрайби. Едва умолк, они продолжили свой разговор. Ни возражений, ни иронии...

Их как будто не слишком волновало и собственное будущее. Во всяком случае, никто не делился своими планами (или в этом тоже проявлялся здешний «хороший тон»?). Однажды, узнав что сосед за столом, темноглазый предупредительный мальчик, изучает португальский язык, Григорьев из чувства симпатии заговорил о больших его профессиональных перспективах. С Португалией после «революции гвоздик» у нас отношения хорошие, а главное — на португальском говорит Бразилия. Сто пятьдесят миллионов человек, научно-промышленный подъем, одна из сверхдержав будущего. Контакты будут расти и расти, а много ли у нас владеющих этим языком? Так что, прекрасно... Мальчик, не ответив, посмотрел на Григорьева едва ли не с сожалением.

Он начинал уже томиться за их столом. Аля же восхищалась своими друзьями. Тот у нее был талантлив, другой — исключительно талантлив. И в ее возбужденном восхищении многими размывалось понемногу восхищение им, Григорьевым.

Она уже и раздражаться на него начала — когда он заговаривал с ней о работе. Она как раз закончила свой филологический и ходила без места: предлагали — учительницей, а ей хотелось переводить художественную литературу. Но кому нужны переводчики в таком переполненном специалистами и бедном издательствами городе?

Григорьев предлагал устроить ее к себе в НПО, в отдел информации. Со знанием английского и немецкого, да с его помощью, ее бы взяли, хоть и там штат был полон. «Будешь переводить патенты и статьи. Разобраться в нашей технике — помогу». Она твердила в ответ, что никогда не пойдет в инженеры: «Для тебя неестественен человек без работы, а для меня неестественно бежать утром к звонку и высидивать до вечернего звонка!»

Она приносила свои стихи, требовала оценки. Это были стихи, какие пишут многие начитанные девушки из благополучных семей: желание любви, первые, трагически воспринятые разочарования, горестное чувство собственной исключительности, страх перед неизведанным еще бытом. Ломаный, под Цветаеву, ритм и размер. Боясь обидеть, он хвалил, но, как с заклиниванием любви, что-то у него в словах, видно, звучало не так.

Трещинки между ними множились. И как раз в это время Аля настояла, чтобы он пришел к ней домой. Он отчаянно боялся встречи с ее родителями, и то, что при встрече произошло, привело его в еще большее смятение. Родители были из тех, что называются «молодыми». Старше Григорьева на каких-то лет семь-восемь, непохожие на Алю — высокие, крупные, основательные. Так же, как он, инженерного, плебейского сословия. Неплохие, видно, люди, и в ином случае он сошелся бы запросто с этими почти ровесниками. Но случай был не иной, а такой, как есть: пришлось сидеть за чайным столом, украшенным, похоже, лучшим домашним сервизом, выдавливать из себя какую-то чушь, чуть ли не о погоде, и видеть, леденя от стыда, их беспомощную, предупредительную покорность. Они едва не заискивали перед ним. Конечно, не ради его прекрасных глаз и красноречия, а из-за сумрачно молчавшей рядом Али.

После этого Григорьев стал требовать:

— Давай, либо поженимся, либо расстанемся!

Аля воспринимала лишь первую часть дилеммы:

— Зачем ты хочешь на мне жениться? Ты ведь меня не любишь! Ты вообще никого не любишь! Даже себя — в тебе нет нормального, привлекательного для женщин мужского эгоизма. Работу свою ты тоже не любишь, не притворяйся! Ты ее тянешь по обязанности!

— Ты меня на работе не видишь!

— Ну конечно, там ты не сидишь сычом, там ты раскован! А почему только там, почему не со мной? Потому что все твои силы уходят на работу и рукописи, на жизнь уже не остается! Кстати, зачем ты вообще пишешь? Что ты можешь написать? Писателю нужна жизнь разнообразная, свободная, а ты — в туннеле и не хочешь из него выбраться!

— Но ведь это — моя жизнь. Правильно я живу или неправильно, это — МОЯ ЖИЗНЬ! А туннели... так должен кто-то писать и о туннелях.

— Да для кого же, господи?! Для тех, кто живет так же, как ты? Думаешь, им это будет интересно?.. Вот, скажи: ты хоть когда-нибудь чувствовал себя счастливым? Хоть раз в жизни? Я не могу себе такого представить!

Чувствовал ли он себя когда-нибудь счастливым? Аля, Аля, как еще наивна ты в свои двадцать четыре! И та давняя песня тоже была наивна. Только теперь понимаешь и наивность ее, и мудрость. Артур Эйзен ее пел на новогоднем «Огоньке», картинно хмурясь и прижимая руку к груди. Кажется, как раз под новый 1963-й: «Годы, вы как чуткие струны: только тронешь, запоет струна!» Они, в самом деле, как струны. Все здесь, близкие и дальние, одинаково под рукой. Притронешься — прозвучит слышное только тебе и угаснет во времени...

В июне 1963-го, закончив девятый класс, они втроем — Димка Перевозчиков, Марик Чернин и он, Григорьев, — забрали документы из дневной школы и отнесли в вечернюю. В дневной ввели одиннадцатый класс, вечерняя осталась десятилеткой. Они рассуждали о том, что даже теперь, смотрика, совершаются ошибки. Не страшные, конечно, как при культе, но — ошибки. Ведь все говорят, даже педагоги, что одиннадцатилетка — нелепость.

А впрочем, без ошибок, наверное, не бывает. И хорошо, что они уже такие взрослые, сообразительные и решительные. Взяли — и обошли препятствие. Выиграют целый год, раньше сверстников поступят в институты. А если не пройдут, — пожалуйста, готовься снова, до армии еще год в запасе. Чтобы учиться в вечерней, надо было устроиться на работу, но это — в августе. А пока что у них были лето и полная свобода.

Обычно с утра они втроем уезжали электричкой на Финский залив — в Сестрорецкий курорт, в Зеленогорск или в Солнечное. В сеточке-авоське — пакеты с бутербродами и, если случались деньги, несколько бутылок пива (Димка

подбивал покупать). Мелькали домики пригородных поселков. За Лахтой электричка вылетала в простор низкого песчаного берега. Становился виден отдаляющийся муравейник города. В белом скоплении домов, накрытом слоем сизой дымки, различались заводские трубы и стрелы огромных кранов на верфях, золотой блестящей сверкал купол Исаакия. А навстречу плыла гладкая, дымчатая голубизна залива. Синим островком на горизонте проглядывал Кронштадт.

Марик брал с собой транзисторный приемничек, такие были еще в новинку. Покачивалась электричка, гуляли в полупустом солнечном вагоне сквозняки от приоткрытых окошек, выбивалась из приемничка музыка.

Какая была самая популярная мелодия в том году? Ну да, эта песенка из аргентинского фильма. Сам фильм прошел по экранам — ее не заметили. Открыл ее, конечно, любимый субботний «Голубой огонек», и разлетелась она по стране уже с русскими словами. Почти все знаменитости ее исполнили — Кристалинская, Трошин, Анофриев. Появлялись новые и новые переводы текста. Но близким остался тот, из телевизионного «Огонька», для женского голоса:

Тянется дорога, дорога, дорога,
Катятся колеса в далекую даль.
Что ж это на сердце такая тревога?
Что ж это на сердце такая печаль?..

Димка усмехался, глядя в окно. Он был самым заметным из них — крупный, светловолосый, с едкими зелеными глазами и великолепной улыбкой. Среди белых зубов у него выделялись длинноватые и острые верхние клыки, отчего, улыбаясь, он становился похож на красивого молодого волка.

Димка говорил, что уже знал женщин. Такие подробности выдавал, что дышать трудно становилось. И скорей всего, не врал. Он же не хвастался перед ними — просто рассказывал. Они сами подмечали, как на Димку смотрят девушки, даже те, что старше. Как теряются от одного его взгляда, от небрежной шуточки. Им с Мариком какую-нибудь такую шуточку и не выговорить бы, не решиться. А Димке — всё легко.

Учился Димка так себе. Зато на скучном уроке вытаскивает лист чертежной бумаги, немного подумает, улыбаясь своим мыслям, потом замелькает в его пальцах карандаш, — и, как у фокусника, начнут появляться островками в разных местах руки, ноги, головы непонятных человечков, странные черточки, пятна. Островки, разрастаясь, сливаются, и к концу урока весь лист покрыт рисунком. На перемене, отгалкивая друг друга, они его с хохотом рассматривают: два пиратских корабля, «Норд-Ост» и «Зюйд-Вест», свалились на abordаж. Пираты, одноглазые с черными повязками, одноногие на деревяшках, рубятся саблями, палят из пистолетов, мечут, как гранаты, бутылки с ромом. Уморительны их зверские рожи с вывороченными губами и вытаращенными здоровыми глазами. Уморителен проснувшийся с похмелья капитан «Зюйд-Веста» — выглядывает из каюты, и на заросшей морде изумление: что тут происходит?!

В то время они зачитывались «Двенадцатью стульями» и «Золотым теленком». Щеголяли шуточками вроде: «Берегите пенсне, Киса!» Димка разразился целой серией импровизаций. Один из тех рисунков, пожелтевший, сохранился у Григорьева. Улица городка двадцатых годов, покосившиеся домики, лужи, грязь. Торгуют плутоватые бабы с лукошками, дерутся тощие коты, бродит козел-скептик. Подвыпивший поп с крестом о чем-то спорит с красноармейцем в буденовке. Беспризорник прикуривает у нэпмана, а его приятель что-то вытаскивает у того сзади из кармана полосатых брюк. Сквозь всё это безобразие стремительно шагает Остап, брезгливо вскинув физиономию с булыжным подбородком. За ним спешит пугливый Киса, придерживая пенсне.

Какой смех тогда вызывали димкины иллюстрации! Безудержный, но с капелькой неясной печали, словно остающейся на дне после того, как выбежит из стакана веселая пена. Или только теперь так кажется?.. Димка собирался поступать в институт живописи.

...У тебя глаза золотистого цвета,
Возишь ты беду на фургоне своем.
Хочешь, мы поделим одну сигарету
И по белу свету покатаем вдвоем?

Нам издалека доносит ветер
Шорохи листвы и звон цикад.
У кого надежда есть на свете,
Тот уже и счастлив, и богат...

Звенела песенка обещанием неведомого счастья и неведомой грусти. Марик Чернин подкручивал настройку, ловил уходящую волну. Невысокий, остроносенький, он оправдывал фамилию — весь был черный. Черноглазый, с каракулевыми кучеряшками, за что прозвали его в школе «синтетическим барашком», с темными щеками (у него густо росла борода, он уже брился каждый день).

Кроме «синтетического барашка» имел Марик другое прозвище — «математический сундук», сократившееся в «Тёму». Своим способностям в математике он как будто сам удивлялся вместе с ними. Он не только решал мгновенно тригонометрические задачки, муку всеобщую, не только держал в голове синусы-косинусы всех углов и уйму логарифмов (на спор с другим классом проверяли его по таблицам Брадиса), он еще и книжки какие-то нечеловеческие по математике собственной охотой читал. А если дразнили, стеснялся: «Интересно же!»

Когда они втроем забирали документы из дневной школы, им встретилась математичка Тамара Абрамовна, смешливая толстуха лет сорока. Подхватила Марика, отвела в сторонку — посеCRETничать. Но говорила всё равно громко, так что и Григорьев, и Димка услышали непонятный разговор. «В университет не ходи!» — сказала она каким-то не своим голосом, строго и резко. Марик ответил что-то невнятное. Кажется: «У меня же нормально, как у мамы. У меня только отец...» И еще что-то, про время. Мол, теперь оно тоже нормальное. Тамара Абрамовна сердито повторила: «В университет не ходи!» — и быстро ушла, топая толстыми ногами. Марик подошел к ним покрасневший и хмурый. Как ни приставляли, ничего не стал объяснять.

...И опять — дорога, дорога, дорога.
Едем мы с тобою не день и не год.
Кажется, до цели осталось немного,
Но — за поворотом опять поворот...

Электричка летела уже курортной зоной. Сквозь сосны мелькали слева белые дюны, за ними — темно-желтая полоса пляжей с фигурками отдыхающих, и дальше, до горизонта — искрящийся под солнцем залив, ленинградское море.

Григорьев смотрел на Марика и Димку и думал о том, как повезло ему с друзьями. Были просто одноклассники. А вот, решились, именно они трое, на свой смелый маневр, соединились — и хорошо им вместе. Среди них даже соперничества нет, каждый — первый по-своему. Вот он, Григорьев. Далекو ему до Марика в математике, зато книг прочитал больше всех в классе и так умеет рассказывать, что тянутся его слушать, даже девочки.

Марик с Димкой точно знают, чего хотят, а он еще не выбрал институт. Но впереди целый год. Пока сама неопределенность — словно власть над жизнью. Как будто ты над всем и всё тебе принадлежит: электроника, химия, ракетная техника.

Они столько раз видели свое будущее! Дальнее — в кинофильмах: «Девять дней одного года», «Улица Ньютона, дом один». Даже в комедии «Три плюс два», — живот надорвешь от хохота, — и то герой — физик. На экране рассуждали, дразня их воображение, о гильбертовом пространстве, о мюзонах. Такое время. Ничего, скоро и они всё поймут, хоть и гильбертово пространство.

Их ближнее будущее было в телевизионных передачах «КВН», где в фейерверках остроумия бились студенческие команды. Они поступят в институты — и сами попадут в тот праздничный мир...

Залив был неглубок, его почти пресная вода — холодно-ватая даже в жаркую погоду. А песок на пляже накалялся как следует. Искупавшись, они валялись на берегу, играли в карты.

Димка, мускулистый, загорелый, с искорками песчинок на гладкой смуглой коже, садился по-турецки и, небрежно и ловко держа сигарету щепотью, курил, выдувая дым сквозь сложенные трубочкой губы. Угощал их. Марик отказывался, а Григорьев курил вместе с Димкой. Первые в жизни сига-

реты — болгарские «Шипка», «Солнце», ароматные, в плоских картонных коробочках с откидной крышечкой.

Щупленький бледнотелый Марик (к нему плохо приставал загар, выделялись черные волосы на груди и на руках) лежал, подперев щеку. На темном личике — довольство.

О чем они болтали тогда? Ведь наговориться не могли. Чуть ослабленное временем, доносится их щебетанье: «Ботвинник, балда, продул чемпионство Петросяну! Он на матчах-реваншах привык отыгрываться, а их отменили. — А Терешкова-то, Терешкова! Наши — молодцы! Не просто первые, а всегда что-нибудь такое выдадут — каждый раз сенсация! В прошлом году сразу два "Востока" запустили, а в этом — уже не просто два, на одном женщина. Что-то дальше будет! — А помнишь, как этот в "Трех мушкетерах": эть-ть! — А как во второй серии Портос этого к колоколу подвесил! — А мадам Бонасье у них так себе, могли получше выбрать. Вот миледи — да! (Димка в знак согласия причмокивал и щурился.) — Миледи — да-а! Блондинка с черными глазами. Какая, говоришь, артистка? Милен Демонжо? — А читали в "Знание-Сила": изобрели приборы, дают прожигающий луч, как "гиперболоид инженера Гарина". — Об этом и в "Технике молодежи" было. Квантовые генераторы называются. Американцы этими лучами хотят ракеты сбивать. — А "Юность" вчера вечером слушали? Робертино Лоретти, "Джа-ма-ай-ка!", больше не поет. Ему шестнадцать лет, у него голос меняется. — Мне тоже шестнадцать было, а у меня голос ни черта не менялся. — Так меняется не тот голос, которым разговариваешь, а тот, которым поешь. — А какая разница?..»

Григорьев всегда покупал на вокзале свежие газеты. Димка и Марик читать их ленились, требовали, чтоб он пересказывал. А газеты тем летом интересны были необыкновенно. Особенно «Известия». (Говорили, потому, что редактор — зять Хрущева и ему больше всех позволено.) Почти в каждом номере — или биография уничтоженного при Сталине полководца, революционера, государственного деятеля, или статья, или рассказ о временах культа.

А в «Правде» шла полемика с китайцами. Те присылали очередное письмо, и наши его печатали. Огромные были

письма. Начиналось всегда словами: «Дорогие товарищи!» И дальше, на целую газетную страницу — попреки, обвинения и ядовито-цветистая ругань. За то, что не хотим воевать с империалистами, капитулируем, сами обуржуазиваемся. Кончалось обязательно: «С братским приветом!» Вся другая страница — ответ нашего ЦК. Тоже «дорогие товарищи» в начале и «братский привет» в конце. Отповедь, полная достоинства, но с иронией. Было обидно, больно даже. Всегда дружили, всегда так хорошо говорили о Китае: наши братья, могучий шестисотмиллионный народ. В школу на праздники приходили китайские студенты. Тихие, улыбались смущенно. И вдруг — ненавидят. Ведь ненавидят же! За газетными строчками словно ревела бесконечная, брызжущая яростью людская масса. За что?!.. И гордость была: смотри-те, всё печатаем. Ничего не боимся, наша правда!

А империалисты как будто взялись за ум. Подписали с нами договор о прекращении ядерных взрывов в воздухе, в океане и в космосе. Газеты и радио ликовали. Если бы испытания продолжались еще лет десять, война бы не понадобилась, вымерли бы все от радиации. Нет, что ни говори, а люди еще разума не лишились, даже американцы. Хоть у последней черты, но остановятся вовремя. Всё будет хорошо.

Они пили теплое горьковатое пиво из бумажных стаканчиков. Горячо и легко кружилась голова — от солнца, от пива, от простора...

Ты еще наивна, Аля. И не расскажешь тебе про лето шестьдесят третьего. Как с годами оно сперва отдалилось немного, но скоро, очень скоро — остановилось. Поток времени его обтекает, новые годы только сменяются, как цифры в окошечках счетчика, не увеличивая до него расстояния. И всё так же близко пылает над Финским заливом необычно жаркое солнце и смеются его друзья.

Оно и тогда тянулось с блаженной медлительностью, последнее лето их детства. Тянулось — и промелькнуло мгновенно. В конце августа они поступили на работу. Марик — фотолaborантом в проектный институт. Димка —

в дом культуры художником-оформителем. Слегка гордился, черт, — как же, художник, пусть пока по лозунгам и стендам!

А за Григорьева решил отец. Еще весной, когда Григорьев дома объявил, что пойдет работать, а доучиваться будет в вечерней школе, отец посмотрел на него, посмотрел, но сказал только: «Тогда — ко мне в цех!»

Кадровичка, оформляя документы, ворковала: «Значит, сын? Смена подрастающая?..» Был привкус игры. Верхнее возбуждение: он поступает на завод, будет, как мужчина, зарабатывать деньги. А глубже — веселое спокойствие: всё любопытно, но для него — ненадолго.

Ждал, что его возьмут учеником токаря или фрезеровщика. На уроках труда в восьмом классе раз в неделю работали на станках, ему нравилось. Но отец отмахнулся: «Чертежником пиши его! У нас как раз Светка в декрет ушла!» И повел за собой из отдела кадров вглубь завода, по темноватым лестницам и переходам, навстречу неясно нарастающему шуму.

Цех, залитый неживым светом синевато-белых ламп, показался подводным царством. Среди тускло-масляных станков, исходивших железным гудом, колыхались серые, мягкие фигуры людей, и звуки отдавались здесь гулко, точно в плотной воде. Били бесконечной пулеметной дробью автоматические штампы, выплевывая, как отстрелянные, издырявленные стальные ленты. Слегка жёг ноздри и глаза кисловатый запах дымков от раскаленной стружки, испарений эмульсии, стекавшей на резцы, машинной смазки.

«Кабинет мой!» — объявил отец, входя в клетушку, открытую, как аквариум, стеклянной перегородкой цеху и всему цеховому шуму. Здесь едва помещались стол, заваленный чертежными «синьками», да шкафчик без дверок с инструментами на полочках. Рядом была клетушка ЦБД — цехового бюро документации, место самого Григорьева: стол с чертежной доской и два шкафа, набитых теми же «синьками» в растрепанных пачках.

Работа оказалась несложной. Из ОГК, отдела главного конструктора, приходили в ЦБД форматки-извещения — изменить размер детали, ввести дополнительное отверстие или

паз. Григорьев поначалу удивлялся: всего-то поменять какую-нибудь резьбу М5 на М6, а столько слетелось подписей: разработал, проверил, утвердил, технолог, нормоконтроль, согласовано. Получив извещение, отыскивал в пачках нужную «синьку». По справочнику Федоренко и Шошина он в несколько дней научился читать чертежи. Ему нравилось из красно-фиолетовых линий на желтоватой бумаге вызывать перед собой деталь со всеми сложными формами, тяжестью и блеском металла. Он пытался угадывать причину изменений. Здесь — понятно, винты для надежности хотят покрупней поставить. Здесь — снизили класс чистоты на внутренней поверхности, к ней трудно подобраться. Тушью, аккуратненько, всё врисовывал на «синьку». В клеточки углового штампа вносил номер извещения, число изменений и не без удовольствия расписывался. Без его подписи — документ не документ! У него настоящая расчетная книжка: ученик-чертежник, оклад пятьдесят рублей.

Но привкус игры не мог заглушить появившуюся тревогу. Отец на работе с ним разговаривал коротко, только о делах — старший мастер с чертежником. Отцу было некогда, или не хотел показывать в цехе, что слишком опекает сына. Словно нарочно кинул несмышленого в волны: ну-ка, сам плыви!.. Дощатая коробочка ЦБД покачивалась от гула и железных ударов. Тянуло вентиляцией. Сквозь веяние кислотоопасного металлического воздуха протекали то аммиачная вонь уборной, то табачный дым из курилки.

Вдруг распахивалась легкая дверь — кто-то из рабочих являлся за чертежами: «Светка! Корпус МТ6.542.008!.. Светка-а! Триста второй переходник! Пошустрей, в лоб твою мать!» Сквозняк часто доносил от них тошный запах перегоревшего во внутренностях вина. Григорьев уже видел, как по углам в раздевалках, почти не скрываемые, валяются пустые бутылки. Обычно восьмисотграммовые «Фауст-патроны», «Фаусты» (как называли их за отдаленное сходство с немецкой противотанковой гранатой) из-под самого дешевого — «рупь шестьдесят семь» — «Плодо-ягодного» или «Волжского».

Почему так неожиданны оказались обитатели этого мира? В плакатных-то рабочих, хозяев страны, с мужественными

усаами и сияющими взорами, в фартуках поверх белых рубашек, Григорьев, положим, и без того не слишком верил. Но ведь у него у самого отец — тот же рабочий. И у многих его приятелей. То ли раньше он встречал одних людей, а здесь были другие. То ли они становились другими людьми, когда по утрам собирались в раздевалках у своих фанерных шкафчиков, — невыспавшиеся, еще вялые, — натягивали вместо домашней одежды серые грязноватые спецовки, перебрасывались первыми хрипучими матюгами и точно темным электричеством заряжались друг от друга раздражением.

Когда они разъединялись по своим станкам, их работой можно было любоваться: по-охотничьи пригнувшаяся фигура, напряженный взгляд на деталь, руки медлительно поглаживают, подправляют маховики подачи. Вдруг — резкое выпрямление тела, боксерские движения стремительно высвобождают деталь из зажима, взлетает в пальцах кинжальный блеск поверочного калибра или штангенциркуля. Бросок новой заготовки — и опять охотничья, выжидающая поза, только руки, мягкие, как щупальца, словно сами по себе отыскивают маховики и рычаги.

Но вот они сходились в курилке — и вновь сливалось и высоковольтно подскакивало темное напряжение. Григорьев слышал, как в их разговорах на все лады повторяется «мы» и «они». «Мы» — рабочие, а «они» — все остальные, кто только и думает, как рабочего «наебать». «Они» — это всё начальство, и мастера, и начальник цеха, и директор. У всех одна подлая забота — повысить нормы, снизить расценки и разряды. О Хрущеве в курилке рассказывали такие грубые и глупые анекдоты, каких Григорьев еще никогда не слышал. Здесь ничего не боялись.

Но и их «мы» — немногого стоило. Между людьми в курилке словно не бывало ни дружбы, ни простой симпатии. Друг над другом они подшучивали так грубо и гадко, что Григорьеву казалось: вот-вот кто-то не выдержит оскорблений, вскинется — и начнется драка. Но все спокойно бросали окурки в жестяную ржавую урну, лениво поднимались и расходились к станкам.

«Светка сраная! Ты что ж мне комплект неполный дал! Где муфта восемнадцатая?!» Григорьев, дрожа от обиды, перерывал пачку «синек». С пожилыми рабочими было еще терпимо. Они, хоть и звали его «Светкой», и материли, но не издевались попусту. Им было на него наплевать. Устроил «старшой» сына перебиться год до института — хрен с ним.

Зато цеховые подростки вцепились в него, точно дворовые щенки в домашнего котенка. Их ненависть была беспричинной, бессмысленной и потому ошеломляла. Их прыгающие лица сливались вокруг в одно размазанное, бледное лицо с водянистыми злыми глазами и ощеренным ртом. Это они придумали «Светку» и всячески, гадко выворачивали то, что предшественница Григорьева ушла в декретный отпуск. В тесном коридоре могли больно толкнуть, дать подножку. Григорьев яростно отругивался (научиться мату оказалось нетрудно), но силой отвечать не решался. Не только из-за того, что боялся всей своры. Из-за отца. Страшно не хотелось, чтобы отец узнал, как ему трудно. Он уже видел, как тяжело самому отцу.

Сквозь шум вдруг доносились громкие голоса из отцовской клетушки. Григорьев заглядывал туда — и холодом обжигал испуг: отец стоял в своей брезентовой куртке, похожей на военный китель (головка штангенциркуля в накладном кармане блестела, вздрагивая, на груди), стоял и КРИЧАЛ на какого-то рабочего, а тот кричал на отца (НА ОТЦА!), в чем-то его обвиняя. Что-то об инструменте, нарядах. Оба матерились. Отец в перебранке был словно меньше ростом, чем дома, с незнакомым измятым лицом... А немного спустя Григорьев видел: отец возле станков, как ни в чем не бывало, беседует с тем же рабочим, они что-то спокойно обсуждают, улыбаются. Неужели отец заискивает перед ними?

И всего тоскливей, ударом в сердце, отзывалось отцовское лицо, когда, заглядывая к нему, Григорьев заставлял его одного над бумагами: напряженное и горько-отрешенное лицо, словно отец — один во всем свете.

Почему люди в цехе такие? Почему?!.. Григорьев пытался примерить их жизнь к себе. Он здесь временно, у него уче-

ба, он скоро уйдет в институт. А эти люди — останутся. Если б ему самому знать, что впереди только работа за станком, шесть раз в неделю, с утра до вечера, всю жизнь... Что-то пугало. Не только грязь, шум и дурные запахи. Что же, что? Неужели сам труд этих людей?

Резьбу увеличить на миллиметр — думают шесть человек, специально выученных, у них справочники, расчеты. Этим же, собравшимся в цехе, остается только машинно исполнять. Они — придатки к рычагам своих станков, их мастерство — отлаженность механизма. Но ведь они — живые люди, с горячим мозгом, с человеческими нервами. Противоестественность получается, и сознают они ее или нет, — она их раздражает, она!

Почему же у нас всегда внушали и внушают, что рабочий класс — самый передовой, что он — творец истории? Какое творчество — быть механизмом?

Нет, так нельзя, и это, наверное, скоро кончится. Мы строим коммунизм, в Программе партии записано: стереть грань между физическим и умственным трудом. Конечно, земного рая с бесплатным изобилием мы не создадим, — это понятно. Только дурачки так коммунизм представляют. Но за двадцать лет, — теперь уже меньше осталось, семнадцать, — заводы обновятся, будут кибернетические станки, свет и чистота. Люди станут другими, отец не будет так уставать... Но еще до этого он сам уйдет отсюда. А отец — останется.

И вдруг — морозом в груди — обжигал испуг: чтоб вырваться отсюда, ему надо поступить в институт. А вдруг он провалится на экзаменах, не наберет нужные баллы?! Он закрывал плотнее легкую дверку ЦБД, раскладывал на чертежной доске свои учебники, зажимал уши от шума.

На вечернюю школу надеяться не приходилось. Они с Мариком и Димкой поняли это с первых занятий. Им еще повезло: их десятый класс состоял из ровесников, таких же парней и девушек, устремившихся сюда, чтобы сберечь год. Но вся вечерняя школа ошеломляла пестротой лиц и возрастов, особенно бросавшейся в глаза на переменах, когда все